

Прогулка по Невскому с узелком вареников, или Как слова горят, не обжигая пальцев

Экспериментальная версия в стилистике Н.В. Гоголя и И.А. Бродского подготовлена с помощью нейросети «Онтологический морфогенез 2.0» на основе вступительного слова А.И. Агеева в «Экономические стратегии» №2 2026 г. «Слова горят»

Петербургский туман в тот день был не просто погодным явлением, а густым, липким раствором из канцелярской пыли и несказанных «извините». Он висел над Невским проспектом так низко, что чиновникам приходилось пригибаться, чтобы их треуголки не задела облака чужой меланхолии.

Иван Петрович, чин XIV класса, но по сути — ходячая справка с номером 404 («Объект не найден»), стоял у окна департамента и с тоской наблюдал, как прохожие превращаются в серые пятна. Воздух сегодня был особенно электрическим. Не от грозы, нет. От того, что люди, устав шептать правду в кулак, начали говорить её вслух. И слова, вылетая из ртов, вспыхивали.

— Опять пожар, — пробормотал Иван Петрович, поправляя вицмундир, который жал его под мышками, словно живое существо, обиженное на то, что его хозяин не генерал. — Скажет кто-нибудь «тяжело» — искра. Крикнет «несправедливо» — языки пламени до карниза. Как же мы будем сдавать квартальный отчет о пожарной безопасности, если сам воздух горит от честности?

Директор, высунувшись из кабинета подобно суслику, почуявшему запах революции (или просто свежего кофе), рявкнул:

— Иван Петрович! Немедленно составьте ведомость удовлетворенности населения! И помните: боль — это неэффективный показатель. Её нельзя учитывать в графе «Прочие доходы». Если в отчете будет хоть одно горящее слово, премию аннулируют, а вас отправят изучать архивы XVIII века без права переписки с настоящим временем.

Иван Петрович вздохнул так глубоко, что запотели все стекла в радиусе десяти метров. Он понял: писать правду нельзя — сгорит бумага. Писать ложь — сгорит душа, а это, как известно, восстановлению не подлежит. Дилемма маленького человека в большой машине: либо стать пеплом, либо стать винтиком, который смазан маслом забвения.

«Нужно воздуха, — решил он, хватая шинель. — Нужно туда, где слова либо молчат, либо горят так ярко, что освещают путь, а не сжигают мундиры». И

вспомнил он смутные слухи о хуторе близ Диканьки, где, по легенде, варили вареники такой силы, что один кусок мог заменить годовой план по повышению духа народного единства.

Дорога вилась, как пьяная змея, убегая от гранитной строгости столицы в мягкий, черный, дышащий чернозем. Чем дальше ехала телега Ивана Петровича, тем реже становились искры от слов и чаще — живой смех. Туман отступал, будто боясь испачкать свои серые одежды о настоящую жизнь.

На хуторе его встретила бабушка Одарка. Она была широкая, как сама Украина, и хитрая, как вся человеческая история вместе взятая. На руках у неё было тесто, которое месилось само, ритмично и уютно.

— Чего нос повесил, пане чиновник? — спросила она, даже не глядя на него, будто видела его насквозь, вместе со всеми скрытыми справками. — Голоден? Или душа в узел завязалась?

— И то, и другое, матушка, — признался Иван Петрович, снимая мокрую от тумана треуголку. — У нас в столице беда. Слова горят. Буквально. Произнесешь «кризис» — уже вызывай пожарных. Как жить-то? Как управлять, если инструмент управления (слово) превращается в оружие массового воспламенения?

Одарка рассмеялась. Смех её звенел, как колокольчики на шапке у шута, который на самом деле мудрее короля.

— Эх, пан! Ты думаешь, они горят оттого, что плохие? Нет! Они горят оттого, что живые! Вы там, в своих канцеляриях, пытались их заморозить, завернуть в ледяные глыбы регламентов, спрятать в сейфы с тройным дном. А слова, голубчики, терпеть не могут холода. Им тепла нужно. Душевного.

Она поставила перед ним миску. Вареники парили, как маленькие белые облака, застрявшие в фарфоровой долине.

— Ешь. Это не просто еда. Это — концентрированная память. Вот этот, с вишней — про тех, кто ушел, но остался в сердце. Кислинка есть, да? Это слеза. А вот этот, со шкварками — про тех, кто выжил, хоть и трудно было. Жирненький, сытный. А тесто... Тесто наше, народное. Месили его миллионы рук: и тех, кто землю пахал, и тех, кто танки строил, пока небо над головой рвалось. Месили с болью, да такой, что она в силу превратилась. В силу держать всё это небо на своих плечах.

Иван Петрович взял вареник. Он был горячим, но странное дело — не обжигал. От него исходило мягкое, золотистое сияние, которое освещало морщины на лице старухи и делало их похожими на карты сокровищ.

— А как же... табель о рангах? — робко спросил чиновник, жуя. Вкус был невероятным: кислым от истории, сладким от надежды и острым от той самой правды, которую в департаменте запрещали упоминать даже шёпотом. — Там ведь написано: боль скрыть, проблему замять, отчет сдать гладкий, как зеркало.

— Табель о рангах! — фыркнула Одарка, подмигивая коту, который важно восседал на печи и слушал разговор с видом главного аудитора вселенной. — Старая бумага, пан. Она давно истлела. Осталась только пыль, которая щекочет вам нос, когда вы чихаете на совести. А жизнь — она полисубъектная, слышал такое умное слово? Значит, каждый тут — сам по себе человек, а вместе — сила. Если одного придавишь — другие поднимут. Если одному больно скажут — другие услышат и помогут согреться. А если начнешь глушить слова, прятать их в подпол... Они так загорятся, что никаким водой не зальешь. Весь твой департамент сгорит дотла, останутся только угольки да чистая совесть. И то, если повезет.

Иван Петрович доел вареник и почувствовал, как внутри разливается тепло. Не то казенное тепло от батарей, которые греют, только когда их стукнешь ключом, а настоящее, живое тепло. Он посмотрел на свой вицмундир. Тот больше не жал. Он просто сидел на нем, как одежда.

— Знаешь, Одарка, — сказал он вдруг, и голос его звучал увереннее, чем когда-либо за тридцать лет службы. — А ведь у нас в департаменте тоже можно было бы такие вареники варить. Только вместо муки — внимание. Вместо начинки — диалог. А вместо печи...

— Печь придется перестроить, — перебила старуха серьезно. — Старая, бюрократическая, не тянет. Дым идет в помещение, угар головы, глаза слезятся. Нужна новая печь. Простая, честная. Чтобы тепло шло людям, а не в трубу отчетности. Это сложно, пан. Это страшно. Но иначе — замерзнете.

Иван Петрович вышел на крыльцо. Солнце садилось, окрашивая небо в цвета спелой вишни, точь-в-точь как начинка в варениках. Где-то вдали кричали журавли, возвращаясь домой, и их клин казался стрелой, указывающей путь туда, где хорошо.

Он посмотрел на свои руки. Они больше не дрожали. Те самые искристые слова, которые раньше пугали его до икоты, теперь казались ему не угрозой, а маяками. Маленькими огоньками, которые говорят: «Эй, я здесь! Я живой! Я чувствую!».

— Пора обратно, — сказал он сам себе, и в голосе его прозвучала легкая, светлая печаль. Печаль от того, сколько времени потрачено впустую на борьбу с огнем, вместо того чтобы греться у него. — Пора докладывать. Не о том, что всё хорошо. Всё хорошо не бывает. А о том, что слова горят. И это — самый хороший знак. Значит, живы. Значит, есть кому греться у этого огня, даже если придется сжечь пару старых инструкций ради растопки.

Он сел в телегу. Лошадь тронула, весело фыркнув. Дорога побежала назад, в Петербург, в туман, в департамент, где его уже ждали стопки бланков и директор-суслик. Но Иван Петрович уже не боялся тумана. Он знал секрет: стоит сказать правильное слово, искреннее, идущее от сердца, как туман рассеется. Сам собой.

А в кармане его шинели, рядом с печатью и удостоверением, лежал последний вареник, бережно завернутый в платок с цветочками. На всякий случай. Вдруг кто-нибудь в департаменте, серый и уставший, тоже захочет понять, почему слова горят. И почему это — самое светлое, что есть на свете, даже если от этого иногда случается небольшой, но такой необходимый пожар.

Телега скрылась в сумерках, оставляя за собой след не пыли, а тихого, теплого света.